

Журнал "Наука и жизнь"

№03, 1964

УДК 03
ББК 92
Ж92

Ж92 Журнал "Наука и жизнь": №03, 1964 / – М.: Книга по Требованию, 2024. – 110 с.

ISBN 978-5-458-59434-9

«Наука и жизнь» — ежемесячный научно-популярный иллюстрированный журнал широкого профиля. Основан в 1890 году. Издание возобновлено в октябре 1934 года. Тираж журнала в 1970-х—1980-х годах достигал 3 миллионов экземпляров и являлся одним из самых высоких в СССР. Тираж на 2009 год — около 44 000 экземпляров. Журнал всегда был рассчитан на широкий круг читателей всех возрастов и профессий и остается самым известным и читаемым научно-популярным журналом в России. Журнал публикует только достоверную информацию преимущественно из "первых рук" от ведущих ученых и специалистов и популяризует знания в доступной форме, но, цитируя основателя журнала М. Н. Глубоковского, "... не впадая в бульварный тон, стоя в стороне от всякой тенденциозности и политиканства".

ISBN 978-5-458-59434-9

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

Вступление в Сибирь

А я живой оленьей крови
Из теплой раны не пила;
В хантейском чуме не жила,
И не ронял мне бор кедровый
На белый снег своих стволов.
Дышу обскими я ветрами,
Туманно грежу осетрами
Я, ленинградский рыболов,
Я, ленинградский воробей,
От золотых высотных шпилей,
Мелькая золотом воскрылий,
Лечу над Родиной моей...
О сколько снега и тепла
Я приняла уже на крылья!

В Сургуте-городе жила,
На буровую приходила,
Где нефть искали — и нашли,
Где вышка в облаках и громе,
Как будто на ракетодроме,
Но здесь полеты — в глубь земли!
На буровой, на буровой
Качают кедры головой,
И вахты, как на корабле,
Сменяются в морозной мгле...
И пусть остался Ленинград
В моей судьбе моей святыней,
Сибирь — душа моя отныне,
Рассвет, и полдень, и закат.



Художникам города Тобольска

Земли сибирская краса
Сама художника находит:
Зеленым светят небеса,
Лиловый дым из труб восходит,
И режут землю тягачи...

Так вот откуда краски взяты!
Такие синие грачи,
Такие красные закаты!

А за тобольскою стеной
В церковных сводах поседелых
Художник грешный и земной
Свинарок пишет белотелых:
Цветных, оранжевых, босых,
Мужей их синие рубахи,

Сильны и тяжки руки их,
Глаза прозрачны, словно птахи
В просторном небе, — и заря,
Как знамя, высится над ними...
Художник в роли звонаря
Бунтует красками своими!

Себя в кольчуге Ермака
Напишет, в кованой и ржавой...
Да будь твоя дорога славой —
Я ворожу издавека, —
Да женщина тебя люби,
Целуй ступни твои босые...
О, сколько чуда по России
В болотной впадине Оби!..



Елочку заиндевелую,
Ханта с нартами в пути
Вырезают фары белые,
Точно резчик по кости.

А погода вновь нелетная.
Я хожу по Иртышу,
Как хантейка безоленная,
И буранами дышу.

Ах, пускай меня возьмет
Твой летучий вертолет!

Мы же птицы,
нам — в полет,
Кареглазый мой пилот...

Обжигает, словно порох,
Щеку синяя слеза.
Ты на кругленьких приборах
Отыщи мои глаза,

Пусть они по небу светятся,
Как ракеты из ракетницы...



Роман

Юрий ПИЛЯР



ЛЮДИ ОСТАЮТСЯ ЛЮДЬМИ

Рисунки И. Гринштейна.



В первой книге романа, напечатанной в №№ 6, 7 и 8 «Юности» за 1963 год, рассказывалось о том, как семнадцатилетний паренек, вчерашний школьник, ушел в декабре 1941 года добровольцем на фронт и в боях, в суровых буднях войны постигал непростое солдатское дело. Пареньку не повезло: соединение, в котором он служил, попало в окружение, прорваться не удалось; выполняя приказ, он с товарищами пытался «просочиться», но ночью налетел на засаду и, контуженный, был взят в плен.

Тяжелые испытания выпадают на долю героя книги и его товарищей по беде. Голод, зверства фашистских охранников и предателей-полицеев, сыпной тиф. Потом неудачный побег, гестаповская тюрьма и, как венец испытаний, — Маутхаузен с его газовой камерой, пытками, массовыми убийствами.

Не раз перед героем романа встает вопрос: может ли человек выдержать все это и не сломаться, не пасть до уровня животного? Оказалось, может. Если он любит Родину, если он сохраняет верность интернациональному человеческому братству, если он не отступает от своих убеждений и продолжает борьбу, — может! И лишь тогда он остается человеком.

Первая книга романа завершается эпизодами вооруженного восстания политзаключенных Маутхаузена. Отбив контратаки эсэсовцев, люди ждут подхода союзных войск и желанного возвращения домой.

Двадцатый век. Бродивших по дорогам,
Среди пожаров, к мысли привело:
Легко быть зверем, и легко быть богом
Быть человеком — это тяжело.

Евгений ВИНУКОВ

ЧИСТИЛИЩЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Я иду по невысокому зеленому берегу. Сумасшедший ветер бьет мне в лицо и едва не валит с ног. Справа — бурные волны Дуная, слева — пыльная мгла, несущаяся над дорогой. А еще с полчаса назад сияло солнце и в прозрачной, легкой дымке синели Альпы. Теперь их не видно.

Я иду с задания. Кажется, с последнего. Завтра заканчивается наш многодневный марш по ничейной австрийской земле: бывшие узники Маутхаузена, военнопленные солдаты и офицеры, мы возвращаемся к своим.

Загребаю ветер руками. Пригибаюсь чуть не до земли. Не пускает ветер, черт бы его побрал, парусом надувает пиджак, тащит обратно. Дунай совсем потемнел и местами почернел — свинцовоседой, хмурый, словно рассерженный. Пригибаюсь еще ниже — резкий треск впереди останавливает меня. Я вижу, как, сломавшись у основания и чуть перекрутившись, рушится дерево. Ломаются, врежаясь в землю, сучья. Ветер гонит навстречу мне струи шелковистой листвы на уцелевших тонких ветвях. Они точно простерты руки.

Дерзаво, еще не старый тополь, лежит поперек моего пути — в ветре, в брызгах реки, под внезапно помрачневшим и будто опустившимся небом.

Я переступаю через расщепленный ствол упавшего дерева и, снова подставив лицо ветру и размахивая руками, как пловец, иду дальше.

Мы размещаемся в чистеньком двухэтажном доме неподалеку от ратуши. Окна первого этажа на фасаде закрыты ставнями, во дворе зашторены. На первом этаже была бакалейная лавочка, от нее весь дом пропах корицей. Лавочка сообщает, как тут заведено, с нижними жилыми комнатами и кухней. Их сейчас занимает семья хозяина. Нам предоставлен верхний этаж.

Валерий Захаров сидит у окна, пощипывает струны гитары и шутиливо-меланхолически напевает:

Сегодня вместе с вами я, цыгане,
А завтра нет меня, я уйду от вас.
Не вспоминайте меня, цыгане,
Прощай, мой табор, пою в последний раз.

Напротив, в кресле, — Порогов. Он курит сигарету, уголки его губ время от времени насмешливо подрагивают, словно собирается сказать что-то смешное и все не собирается. Иван Михеевич бродит по комнате, трогает разные ненашенские вещи и покачивает головой. Я лежу, задрал ноги на деревянную спинку широченной кровати: отдыхаю после задания и жду ужина.

— Послушайте, цыгане, — наконец говорит Порогов. — Где бы нам достать несколько пар обмунди-

рования? Хотя бы несколько пар. А то на что похоже: фуражка немецкая, костюм австрийский, башмаки не то французские, не то польские. Пожалуй, еще откажутся от нас таких.

Валерий немедленно подхватывает на известный мотив:

Мундир французский, костюм австрийский,
А нос-то русский, тра-ля-ля.

— Нет, в самом деле, — говорит Порогов. — Вот вы попробуйте представить себя на месте тех, кто будет нас принимать. Вот представьте: солдат возвращается из неволи, да еще не простой солдат, а офицер, к тому же ведущий за собой других. Если он в своей форме, то с ним надо и обращаться по форме — верно? Тогда он может и доложить, как положено, и командовать своему войску... церемониальный шаг или что там еще потребует от нас на завтрашнем параде...

Порогов чуть улыбается, но говорит по своему обыкновению неторопливо, негромко — с достоинством.

— А что, и впрямь нас, этих-то цыган, не примут? — с лукавой обеспокоенностью говорит вдруг Иван Михеевич. — Идите, скажут, откуда пришли, и без вас хлопот предостаточно. Куда ж нам тогда, бедным?

— Да, куда же нам, братцы? — Валерий, усмехаясь, кладет ладонь на струны. — Сплоховали мы, сплоховали! Надо бы еще месяц назад подать заявление Цирайсу или Бахмайеру: мол, ввиду предстоящего возвращения домой просим вернуть наши гимнастерки и сапоги...

— А заодно и личные дела с перечнем наших преступлений против Гитлера, — добавляет Иван Михеевич с озоровато блеснувшими глазами. — Топорик бы теперь тот, с биркой, которым я в сорок втором, находясь в бегах, зарубил полиция. — Он быстро поворачивается к Порогову: — Нет уж, дорогой товарищ Андрияша, что до меня, то я еще напялю тирольскую шляпу с пером и короткие кожаные штаны — видал у хозяина? — я непременно реквизирую их. В таком виде и буду докладывать: майор Копейкин после трехлетнего пребывания в санатории Маутхаузен... для дальнейшего прохождения службы.

У Порогова опять иронически дергаются уголки рта, но он не успевает ответить. Валерий проводит по струнам и вновь томно полуприкрывает глаза.

Довольно мне в разлуке быть.
Что в новой жизни ждет меня, не знаю.
О прошлом не-е-че-го тужить...

Они, конечно, шутят, они радуются, но и тревожатся немного, я чувствую.

А почему тревожатся? Может быть, все дело в том генерале, который незадолго до нашего ухода из Маутхаузена, уже занятого американцами, произнес перед нами не совсем удачную речь? Генерал

страстно призывал нас вернуться на Родину. Было очевидно, что он ничего не знает о тяжелой борьбе советских людей в фашистских концлагерях — о борьбе, цель которой состояла именно в том, чтобы помочь своему народу победить врага и вернуться домой... Но пусть на Родине пока ничего не знают о нашей борьбе за колючей проволокой. Мы возвращаемся к своим, к себе — вот что главное! И единственное, что может печалить, — это близкая разлука с друзьями. Я предчувствую, что нам скоро придется расстаться...

В отворенную настежь дверь входит, пыхтя, повар Ефрем.

— Товарищи начальники, все готово, — объявляет он. — Стол накрыт, бутылки откупорены. Прошу!

Мы встаем и отправляемся в соседнюю комнату на прощальный товарищеский ужин.

2

Такого роскошного стола я еще не видывал. Белая накрахмаленная скатерть, накрахмаленные салфетки, цветы, сверкающие бокалы. И самое основное: разукрашенные аппетитные горки нашего русского салата — с яйцом, с мясом, со сметаной; открытые, с отогнутыми краями банки консервов, белый хлеб, сыр, ветчина; наконец, высокие темные бутылки с холодным терпким, сухим австрийским вином... Замирает дух, леденеет сердце! Ай да Ефрем, ай да гвардии сержант!

Сопровождающий нашу колонну майор Манин, уполномоченный по репатриации, переглядывается с Пороговым. Тот смотрит на Ивана Михеевича, Иван Михеевич — на Валерия, Валерий несколько подозрительно — на Жору Архарова. Затем все безмолвно усаживаются на Ефрема: это же невероятно — соорудить такой стол всего на десятый день после окончания войны!

Ефрем от волнения потеет, на его круглом лице гордость, и радостное смущение, и некоторое беспокойство — целая гамма разнообразных чувств. Он шумно вбирает в себя воздух, обводит царственным взглядом стол и кидается поправлять загнутый уголок скатерти.

— Потрясающе! — говорит Манин.

— Без товарища Архарова не сумел бы, — почитает нужным скромно заметить Ефрем. — Он обеспечивал провиантом. Скатерть и приборы — хозяйские, цветы тоже. Я только сервировал, ну, и, понятно, готовил.

— Крепко, крепко, — говорит Порогов.

Жора тихоноко хихикает, чрезвычайно довольный. Я подозреваю, что, будучи нашим начпродом, он вывез из прежних эсэсовских складов Маутхаузена по меньшей мере половину наличных запасов продовольствия да еще, вероятно, прихватил кое-что у американцев.

— У союзничков-то комси-комса? — спрашиваю вполголоса у Жоры.

— Организилен! — сияет он. — Молчи!

— Ну так давайте за стол. Товарищ Манин, Митрофан Алексеевич, девушки, Саша, пожалуйста! — приглашает Порогов.

Садимся. Очень торжественно. Девушки от меня справа, за ними Валерий и Иван Михеевич. Слева рядом со мной Жора, потом Быковский. Напротив, по другую сторону стола, — товарищи из лагерного лазарета: доктор Григорьевский, художник Логвинов; дальше — Алексей Костылин, полковник Шаншеев и другие руководители и активисты маутхаузенского

подполья. Очень торжественно и как-то по-хорошему строго — светло и строго. Все умолкают. Порогов поднимается с бокалом в руке.

— Выпьемте, други, прежде всего за Родину. За страну, вырастившую и воспитавшую нас, за страну, с именем которой мы вступили в бой в сорок первом, во имя которой боролись в лагерях в продолжение всех этих черных лет фашистской неволи... За Родину!

Во взволнованном молчании сдвигаются бокалы. Бокалы ставятся на стол уже пустые. Еще минуты две молчания. Затем снова булькает из горлышек вино. Поднимается полковник Шаншеев и предлагает помянуть погибших. Пьем за светлую память наших товарищей, убитых пулями и осколками, задушенных в газовых камерах, повешенных, растерзанных фашистскими овчарками. Шаншеев садится последним — высокий, изможденный старый солдат.

...Какой-то провал во времени. Легкий звон вокруг или он во мне? Постукивают ножи и вилки. Мир заметно сужается, теплеет.

— За счастливое возвращение домой. За жизнь, ребята! — восклицает Валерий и протягивает руку с полным золотистым бокалом на середину стола.

— За мирную жизнь! — говорит Иван Михеевич, чокаясь с Валерием.

И я чокаюсь с Валерием и Иваном Михеевичем, и с Жорой, и с девушками поочередно.

— Ты закусывай, закусывай, ешь! — заботливо наставляет меня Жора.

«Не останавливайся, не останавливайся!» — отчего-то слышится мне его голос издалека.

Я поднимаю голову и смотрю на лица товарищей. Неужели это те лица, те самые, что недавно были темными ликами обреченных на смерть людей?

Передо мной встает лицо Валерия — накануне того, как расстреляли Самойлова: я вижу лишь черные впадины глаз и окаменевшие скулы — сейчас он улыбается, Валерий... И Иван Михеевич улыбается, а как разяще сверкали его глаза в то морозное февральское утро, когда стало известно о казни генерала Карбышева!.. Алексей Костылин улыбается, Шаншеев улыбается, улыбаются оживившиеся девушки.

За мирную жизнь, думаю я. А что знаю я об этой жизни? Я знаю о мирной человеческой жизни ровно столько, сколько знал в семнадцать лет, до того, как ушел на войну... Но, может быть, это и хорошо и так еще интересней?

В руках у Валерия опять гитара. У него синие-пресиние, с веселыми искорками глаза... Да, вот что я теперь знаю: чем бы человек ни казался в этой обыкновенной мирной жизни: храбрецом или, наоборот, трусом, великодушным, добрым или жадным, — он в действительности таков, каким будет в минуту опасности.

Валерий поет, и голос у него сейчас совсем другой — звонкий и задорный, и глаза задорные, и в них еще что-то есть, чего раньше не было; он смотрит на девушек и поет:

На переднем Стенька Разин.
Обнявшись, сидит с княжней,
Свадьбу новую справляет,
Сам веселый и хмельной.

Иван Михеевич стремительно поворачивается, его лицо вспыхивает молодым светом, он подбочивается и таким петушком наступает на Валерия:

Что ты, что ты, что ты, что ты.
Я солдат двадцатой роты!
Тридцать первого полка!
Ламцадрица ламцаца!

И уже весь стол подхватывает и гремит:

Соловей, соловей, пташечка.

Канареечка жалобно поет.

Эх, раз поет, два поет, третий раз подумает.
Канареечка жалобно поет.

И вновь заводит Валерий про Стеньку Разина: за-
дорно, с тем непонятным и непривычным, что по-
является у него, когда он смотрит на девушек, и
чего прежде не было.

Я тоже гляжу на девушек. Для меня они — это в
сущности совершенно новый мир. Возле них — чув-
ствую — я как-то теряюсь, исчезаю куда-то, и тем
сильнее этот неведомый мир тянет меня к себе.

...Одну из них зовут Надей, другую — Олей. Надя
черненькая, она очень нравится мне; я немного
знаком с ней, она возглавляет группу девушек,
идущих в нашей колонне. И как раз потому, что она
мне очень нравится, я ощущаю дурацкую скован-
ность и никак не могу заговорить с ней. Я решаю
вначале чуть-чуть поухаживать за Олей. Ну, почему
бы теперь мне тоже не поухаживать?

Порогов рассказывает анекдот. Что-то смешное
про ветер и солнце. А потом предлагает выпить за
хорошее отношение к женщинам — так получается
из анекдота. Все хохочут, и я, хотя, откровенно, я
не совсем уловил, в чем его соль.

— За хорошие отношения! — говорю я Оле, под-
нимая бокал.

Она, улыбаясь, загадочно взглядывает на меня и
берется за тоненькую ножку своего бокала. Я вы-
пиваю залпом, Оля — маленькими глотками.

— А что, если нам пойти погулять? — отважив-
шись, спрашиваю я.

Она, помедлив, кивает. Когда Валерий с гитарой
перебирается к окну, мы с Олей выходим из ком-
наты.

3

Звезды крупные, белые, таинственно мерцающие.
Темные купы деревьев, темные острокрышие
дома, тихие улочки. Прострекотал кузнечик и
смолк, будто напуганный. Воздух неподвижный, теп-
лый; пахнет сиренью.

Мы о чем-то разговариваем — о незначительном,
так, чтобы не молчать. И чувствуем: мы во власти
чего-то глубокого, радостного, что в нас и чему я не
знаю названия. Может, это и есть ощущение полной
свободы?

Какие-то шорохи, невнятные вздохи, какой-то ше-
пот. Силуэты повозок. Сонное бормотание людей,
устроившихся на ночь на открытом воздухе. Вели-
кая бездомность народов, как кто-то назвал вой-
ну, но ведь войны уже нет?

Постукивают по тротуару шаги. Это мои шаги, они
подлиннее и пореже. А Олины — постукивают от-
дельно, чаще и короче. Мы куда-то идем, я — один
мир, она — другой. Мы идем рядом. Нам непривыч-
но, чуть неловко, но нам и хорошо, потому что мы
знаем: не должно быть двух таких миров, а дол-
жен быть один. Мы хотим, чтобы был один мир, за-
тем и идем. Правда, вслух говорить об этом неудоб-
но, но мы понимаем все без слов.

Улочка обрывается. Тут светлее. Какое-то поле.
Мы садимся на теплую землю посреди шуршащих
жестких стеблей. Со стороны Дуная веет сыроватой
свежестью. Огромный звездный шатер над нами.

Не должно быть двух миров. Не должно. Мир
один, и это только война с ее кошмарами и голо-
дом разъединила его. Больше не должно быть голо-
да и кошмаров. И этой противоестественной разъ-
единенности.

Глубокая ночь. Кругом туман. Он заволок городок,
поле, дорогу, а звезды стали резче и ярче. Туман
вокруг, а в центре его — мы двое. Кажется, мы за-
блудились в тумане, но это не так. Мы сами не хо-
тим выходить из тумана.

Я гляжу на лицо Оли. Гляжу и не нагляжусь. Ни-
чего подобного я не видел — не умел смотреть, не
понимал, и поэтому не видел. Лицо говорит, дышит,
улыбается, спорит, оно ласкает, обижается, любит —
и все в одно и то же время, и все тогда, когда ус-
та сомкнуты, и даже тогда еще явственнее, чем ко-
гда оно говорит словами.

Ее лицо живет. Я не знаю, красиво ли оно. — мне
сейчас оно кажется прекрасным. Ее глаза большие
и чуть отсвечивающие в полумраке; ее лоб — я при-
касаюсь к нему и осторожно глажу его; и нос, и гу-
бы, и шея — все прекрасно, и все неотделимо от то-
го жгучего чувства близости, которое я только что
открыл для себя. Как же прекрасна эта обыкновен-
ная человеческая жизнь!

И я опять обнимаю Олю. И вновь ощущаю то же.
Этому, наверно, нет и не будет конца. Она смеется
и мягко отталкивает меня ладонями.

— Пошли, порай!

— А куда спешить?

— Так ведь утро скоро, утро.

Чудачка, думаю я. Теперь все иначе: мы свобод-
ны, и времени для нас нет.

— Пусть утро. Нет, не утро. — Я вдруг вспоминаю
про часы, которые мне подарил Быковский: ребята
нашли в роще неподалеку от Маутхаузена брошен-
ный «мерседес» и в нем портфель, набитый часами.

Я достаю из кармана — маленькие, золотые, в
форме луковки. Они тикают, я заводил их.

— Вот посмотри, — говорю я, уверенный, что до
утра еще далеко.

Мы пытаемся разглядеть в темноте крохотный ци-
ферблат. Безуспешно.

— Утром посмотришь, — говорю я и кладу в ла-
донь Оли луковку-часы.

— Это мне? — не верит она.

— Конечно. Ты посмотришь, какая это прелесть.

Оля вздыхает.

— Ты сможешь продать их, когда вернешься. До-
ма понадобятся деньги.

Смешная она: о чем заботится!

— Зачем мне деньги? Осенью я пойду в инсти-
тут, буду получать стипендию.

— Купишь костюм.

— У меня есть костюм.

— Ну, часы, мужские.

— А часы я себе еще достану, если захочу. Берй!
Она наконец смягчается.

— Если только ты еще достанешь... А то у меня,
правда, ничего, ничего нет. Когда немцы угоняли
нас, все палили, разбивали. Как мы теперь жить бу-
дем, — не знаю.

— Все наладится, Оля, — успокаиваю я ее. — Те-
перь мы будем еще лучше жить. Больше не будет
войн, не будет фашизма. Красивой и умной будет
жизнь, Оля, вот увидишь, и справедливой. А мы к
тому же такие счастливые!

Она доверчиво прижимается к моему плечу, и мы
молчим.

Звезды куда-то исчезают. Серая пелена тумана
разрежается. Прочерчиваются контуры домов.

— Рассвет...

— Тикают, — радуется Оля. — Пошли?

Я надеваю пиджак, и мы выходим на дорогу. Мир,
кажется, несколько изменился, стал более спокой-
ным, что ли. Над Дунаем неподвижно повисла плот-
ная белая полоса.

У ближайшего перекрестка прощаемся. Девушки занимают старый дом под массивной крышей — он наискосок от нас. Я долго не могу выпустить из своей руки шершавую ладонь Оли.

После завтрака мы с Пороговым сидим на подоконнике. Лицо его строго и немного задумчиво. Через час мы выступаем. Доведется ли нам еще когда-нибудь так запросто посидеть и поговорить?

— Тебе ко многому надо будет заново привыкать... Вот, может статься, встретишься ты в будущем с кем-нибудь из лагерных товарищей. Новая обстановка, новые обязанности, семья, женщины там, детишки. И тебя, возможно, кольнет, что встреча получится совсем не такой, как ты ожидал... как, впрочем, бывает и с другими встречами, в особенности когда их очень ждешь. — Порогов смотрит мимо меня, куда-то в стену. — Кстати, насчет женщин. Не думай, что это просто. Даже то, что называется мимолетной связью, не проходит даром — портит душу. Не надо так. Все это совсем не просто, как кажется. Но это между прочим.

Это, по-видимому, не между прочим, а главное, что он хотел сказать мне. И я благодарен ему, не за совет — в подобных вопросах голым умом, вероятно, ничего не решается, — я благодарен Порогову за его отцовски бережное отношение ко мне.

Опять смотрит мимо, теперь в окно.

— Значит, не хочешь со мной?

— Спасибо, но я думаю, что найду родных, я говорил...

Он предлагал мне стать его приемным сыном, и хотя моего родного отца давно нет в живых, я надеюсь, что жива мама.

4

Все в солнце: поля, перелески, зелень земли и сияющая необъятность неба. Голубой Дунай позади, затерялся где-то за холмами, и Альпы позади — я никогда не забуду их, — и Маутхаузен, и трудные годы — годы моей юности, отданные войне.

Мы шагаем в головной колонне. Шагает Порогов, Валерий, Иван Михеевич, полковник Шаншеев. Идут в пешем строю, как простые солдаты. Идут герои, для меня они всегда будут героями — организаторы и стратеги подпольной войны в концлагере. Идут коммунисты.

А мы идем за ними. Нас больше трех тысяч — бывших политзаключенных Маутхаузена. Свыше тридцати тысяч наших соотечественников осталось там, убитых и превращенных в пепел. Но сегодня они тоже идут с нами, незримо, ставшие частью нас самих. Это боль и горе, мужество и отчаяние первых лет войны идут по австрийской земле на восток. Мы возвращаемся из вражеского окружения на нашу советскую землю.

Только солнце. Оно блестит на листьях придорожных лип, в разогретой траве, в капельках пота на наших лицах. Солнце и солнце, и хорошо, что сегодня много солнца!

Я шагаю тоже в головной колонне. В предыдущие дни я ехал на легковой машине, выполняя специальные задания уполномоченного по репатриации майора Манина. Вместе с шофером Леней мы внезапно появлялись в отдаленных местечках и живописных виллах в стороне от шоссе: проверяли, не задерживает ли кто-нибудь там наших людей. Я шел обычно первым, правая рука на пистолете в кармане пиджака (нашу колонну дважды обстреляли), Леня —

за мной, шагах в двадцати, в одних трусах, косолапый, с автоматом на шее... Теперь пистолет лежит у меня в заднем кармане брюк, все тот же, подаренный моим камрадом Маноло. Я не отдал его американцам, когда 7 мая, навевая на нас орудие с танка, они потребовали, чтобы мы разоружились; я очень хотел бы привезти его домой как память о боях с эссовцами в Маутхаузене...

Только солнце. Пожалуй, оно начинает припекать слишком сильно. Воздух накаляется, ни один лист не дрогнет на разомлевших липах. Я снимаю фуражку и вытираю пот с лица.

— Дождь будет, — говорит Быковский. — Косточки чуют, да и трава очень пахнет, перед дождем.

Насчет травы верно. Вообще я замечаю, что после концлагеря у нас обострилось обоняние. Я не подозревал, например, что можно на расстоянии ощутить горьковато-сладкий запах коры лип, пресный запах воды, в реке, грустный теплый аромат клочка свежего сена.

— По-моему, впереди река, — говорю я.

— Впереди гроза, — вещает Жора.

— Да, будет гроза, — соглашается Быковский. — Парит.

— Не будет грозы. А речка — вон она! — Я показываю на голубую полоску воды, изогнувшуюся подковой в яркой зелени луга; эта подкова — примета счастья...

Мы переходим через каменный горбатый мостик и медленно взбираемся в гору.

— Только не упрятавали бы сразу в казарму, — вслух размышляет Жора. — Хотелось бы еще погулять. Вы знаете, что мы сейчас проходим по суворовским местам — Энс, Перг, Марбах? Потом я хотел бы съездить в Вену.

Лицо Жоры оживает. Он мечтает когда-нибудь найти и поблагодарить двух венков из Красного Креста, которые 20 июня 1943 года пытались передать нам, военнопленным политрукам, в невольничий вагон корзинку с хлебом и кофе.

— А я согласен на казарму, — тоже оживляясь, говорит Быковский. — Старый служака. Дай-то бог!

Порогов идет размеренным, тяжеловатым шагом. Вероятно, устал. Конечно, устал, это видно и по напряженной спине и по ссутуленным плечам. И по тому, что умолк — больше не разговаривает и не шутит. Он мог бы преспокойно катить в машине вместе с майором Маниным, но не захотел.

На Порогове старый темный костюм, еще лагерный. На спине след от красной полосы, счищенной бензином. На голове вылинявшая фуражка-тельманка... Зря он все же отказался от нового костюма, который я раздобыл ему на вещевом складе. Он хочет переодеться только в свою армейскую форму — его, кадрового офицера, нетрудно понять.

Почувствовав мой взгляд, Порогов оборачивается.

— Жарко?

— Нормально, — отвечаю я.

— Не ври. Жарко. И нечем дышать, это перед грозой.

Они все правы: Быковский, Жора, Порогов. Небо над головой чисто, но на горизонте уже собирается предгрозовая муть.

Печет солнце. Остро пахнет травой. Начинает доминать жажда... И все-таки радость, главное, радость: сейчас будет встреча с советским командованием, и скоро, теперь уже очень скоро я обниму маму, сестер, поцелую родную русскую землю!

Ряды безмолвно подравняются. Головы — выше. И волнение — я вижу закусенные губы, возбужденно поблескивающие глаза.

На перекрестке дорог столб с фанерными стрелками-указателями. На одном из указателей русская надпись: «Цветль. 1 км».

Это тот город, куда мы идем, а вернее сказать, пришли: за поворотом сквозь сияющую зелень листы проглядывают первые дома, и над ними в дрожащем мареве — высокие стены какой-то старинной кирхи или монастыря.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Наверно, я тоже волнуюсь... Рядом с Пороговым идет майор Манин, но ведь он около часа тому назад проехал мимо нас к городу? Когда он возвратился? Как я не заметил? Майор Манин идет не рядом, а сбоку и на полшага впереди.

По обе стороны колонны — аккуратные фасады домов, подстриженные деревья, узорчатые чугунные ограды — как мы переступили черту города, я тоже почему-то не заметил. Я сейчас вообще плохо замечаю, что вокруг, зато отчетливо слышу стук своего сердца. Я стараюсь держаться прямо, глядеть только перед собой, как на параде... Может быть, это глупо?

Нет, не глупо. Мы вступили в советскую зону оккупации. Это же, по сути, самая торжественная минута в моей жизни за последние годы: я вернулся! Даже не верится. Неужели вернулся? Но почему все совершается как-то слишком просто?

Может, потому, что я чересчур долго ждал этой минуты, и мне теперь лишь кажется, что просто? Ведь я ждал этого непрерывно с тех пор, как 6 июля 1942 года замкнулось немецкое кольцо, и я почувствовал, что отрезан от Родины. Все дальнейшее по смыслу своему было ожиданием, борьбой за возвращение и ожиданием его. И вот теперь это наконец совершается, уже свершилось...

Так почему же нет музыки? Почему нет цветов и поздравлений? Где праздничные лица моих прежних командиров? Где родные?

Дурачок, говорю я себе. Успокойся. Откуда взяться здесь твоим родным и твоим прежним командирам? Здесь Австрия, ты возвращаешься из плена...

Я встрываю голсвой. Я хочу все трезво оценивать и понимать, но сердце мешает. Дурное сердце! Мало ли чего хочется ему, сердцу! Я встрываю головой и вижу еще более напряженную спину Порогова; жалко, не вижу его лица — что на нем? И еще я вижу впереди большой сквер, побелевшие на солнце верхушки тополей, а выше — синюю стену тучи, громадную синюю тучу с белесыми пятнами внутри и неясными розоватыми всполохами света.

Ну и дьявол с ней, с тучей, думаю. А Порогов просто устал. И никакой торжественной встречи не будет — я неожиданно понимаю это. Сейчас Порогов доложит, и нас разведут по казармам. И все. И так даже лучше...

Мы входим в тенистую аллею. Мы минуем аллею, спускаемся немного вниз, и вот наших шагов больше не слышно. Мы идем по травяному полю вслед за майором Маниным, идем в конец поля — это футбольное поле: я вижу покосившиеся штанги ворот, — мы останавливаемся там, где должна проходить черта штрафной площадки.

Вероятно, мы на городском стадионе. Кругом деревья. Скамейки поломаны, доски свалены в кучу. Зачем?

И я слышу за спиной громкую команду:

— Нале...во!

Давно я не слышал такой команды: «во» — отдельно, отрывисто, как положено. Хорошо!

Поворачиваюсь, как положено. Я в первой шеренге. Я вижу немолодого старшину — подтянутого, бравого, с красной звездочкой на пилотке.

— Ра-авнясь!

Ищу глазами грудь четвертого человека. Очень хорошо!

— Смирн-а!

Замираю. Сказываю взгляд на старшину. Четким строевым шагом подходит он к чернявому капитану и что-то докладывает — что, я не слышу: по-прежнему мешает сердце.

Капитан кивает. Старшина поворачивается к нам. Сейчас, наверно, пригласят Порогова. Сейчас, думаю я...

И я вижу вдруг на углу поля, там, откуда подается мяч на угловой, — я вижу автоматчика. Нашего солдата в выгоревшей гимнастерке, нашего советского солдата, беленького безусого парня с автоматом. Зачем?!

И я вижу второго автоматчика на противоположном углу поля. Зачем?! И еще одного солдата с автоматом наготове. Зачем? Зачем?!

— У кого огнестрельное или холодное оружие — сдать! — командует старшина.

Что-то больно обрывается в груди, холодеет, но я не хочу этому верить. Это понятно, понятно, твержу я себе. Война закончилась.

Я выхожу из строя и кладу на землю свой пистолет. Мне подарил его испанец Маноло, мой товарищ, он подарил мне его за неделю до нашего восстания. Я кладу его на землю, свой пистолет. Война закончилась. Это ничего, говорю я себе.

И я чувствую вдруг, что солнца больше нет. Его заслоняет туча. По верхушкам тополей пробегает короткая дрожь.

Я возвращаюсь на свое место в строй. Поворачиваюсь кругом через левое плечо. Как положено. Это ничего: оружие сдали, — теперь автоматчики уйдут.

Над головой глухо погромыхивает: начинается гроза. Порогов возвращается в строй, Валерий — в строй, полковник Шаншеев — в строй. На их лица я не гляжу — стыдно.

— Поживей! — кричит старшина.

А почему он кричит? Что он здесь — старший? А где майор Манин? Я смотрю налево и направо — майора Манина нет. Где же майор Манин?

Косо сверкает молния. Грохочет. И сразу темнеет. Душит холодом.

— Живей, говорю! — кричит старшина.

Где же Манин? Где майор Манин? Почему не уходят автоматчики? Почему с нами так?

За что?

Снова сверкает. И вновь грохочет. Первые крупные капли дождя падают на сухую траву, на наши головы в чужих фуражках и полосатых концлагерных шапках, на наши плечи, на наши спины, тысячу раз битые палками эсэсовцев и надсмотрщиков...

И это ничего, что дождь. Это даже хорошо. Капли дождя на лицо — это даже приятно. И ничего незаметно, ничего незаметно, потому что капля дождя и человеческая слеза — попробуй, различь их!

Дождь припускает. Часовые автоматчики поеживаются. Старшина кричит:

— Берите доски, лопаты! Стройте себе жилье! Что стоите?

Да, что же мы стоим? Что я стою?





Порогов, ссутулившись, первым трогается с места. За ним полковник Шаншеев, Иван Михеевич, Валерий... Потом бросаются все в беспорядке.

Бушует дождь. Ослепительно вспыхивает и раскаливается небо, черное небо над почерневшей мокрой землей.

2

— Э то нужно. Пойми, в среду пленных, таких, как ты и я, могли затесаться власовцы и полицаи. Тут, мой дорогой, необходимость, суровая, но необходимость. И откровенно. я предвидел что-то в этом роде.— Порогов приостанавливается и испытующе смотрит на меня.

12

Над головой опять солнце. После вчерашнего дождя земля еще не просохла, от влажных стволов, от сырой травы, на которые падает рассеянный солнечный свет, в старом парке стоит голубоватый дымок.

Лицо Порогова бледновато, под глазами мешки... А верит ли он сам в то, что говорит? — думаю я. Или сам себя старается убедить, что есть такая необходимость? Хорошо, кабы верил, ему было бы легче.

— Да,— говорю я.— Необходимость. Я понимаю. — А мы выдержим и это! — Порогов пытается улыбнуться.— Уже выдержали. Теперь будет проще. Теперь будем отчитываться каждый за себя, а потом и за наши общие дела в Маутхаузене.

Он, очевидно, рад, что я понимаю. Пусть так думает. Я рад за него, если он так думает.

— За себя мы отчитаемся,— говорю я.— А за нашу подпольную работу в Маутхаузене — тем более. Пока мы все вместе, сделать это несложно.

Я тоже пробую улыбнуться. И улыбаюсь — довольно натурально, по-моему. Походив со мной еще немного по дымящемуся, в солнечных зайчиках парку, Порогов отправляется в свой шалаш. Я бреду к речке, огибающей парк с юга, и сажусь на замшелый серый камень.

На противоположном берегу высится старинный монастырь. Там расположился особый отдел. Черный капитан, принимавший нас вчера, — его начальник... У крепостной монастырской стены стоят часовые. Один из них смотрит прямо на меня: ему, вероятно, приказано следить за парком, где находимся мы, со стороны речки. Солдат смотрит на меня настороженными сощуренными глазами, на его гимнастерке поблескивает медаль. Я снимаю отсыревшие ботинки, кладу их рядом с собой на камень.

Необходимость, думаю я. Хорошенькая необходимость!

Я гляжу на часовых и на крутой, поросший ивняком откос противоположного берега. Ведь это ужасный пустяк — уйти отсюда! Каждый из нас, имевший за своими плечами в плену хоть один побег, сумеет незаметно уйти из этого парка. И, возможно, кто-нибудь, не поборов обиды, смалодушничает и уйдет, а потом расскажет пленным в западной зоне, как встретили нас здесь. Вот что глупо! И вредно! Как наше командование не понимает этого?

Смотри, смотри, думаю я про часового с медалью. Неси свою службу как положено, солдат. По совести говоря, я очень завидую тебе: ты в форме, с медалью, при оружии. Мне же просто не повезло, солдат, мой дорогой незнакомый товарищ, а ведь я в душе такой, как и ты. И не беспокойся за меня: я не уйду. И никто из моих концлагерных друзей не уйдет — ты не волнуйся!..

Позади меня шуршат осторожные шаги. Затем я вижу сбоку опрокинутое в воде улыбающееся лицо своего земляка Афона.

— Что, друг, загорает? — спрашивает он.

— Загорает. Составь компанию.

Он усаживается на бережок, подобрал под себя ноги. Когда-то мы мечтали вместе ехать домой. Это было очень давно, в какой-то иной жизни.

— И долго будем так... загорать? Ничего не знаешь?

— Нет.

— А не посадят нас случайно? Болтали ведь, что за плен сажают. Оно похоже на то и выходит.

Улыбка исчезает с лица Афона. И белые брови, сдвигаясь, сосредоточенно топорщатся.

— Нас не за что сажать,— говорю я.

— Вроде бы и не за что. А с другой стороны — следует. По приказу то каждый должен был до последней капли крови. Вот я и задумываюсь... — Афоня понижает голос. — Застрелиться надо было как-то, хотя особой возможности и не представлялось. Да и жалко самого-то себя стрелять. За что?

Голубые глаза Афона, глаза-звездочки, меркнут.

— Чепуха это, выбрось из головы,— говорю я.— Война внесла свои поправки в прежнее представление о плене. Любимый фронтовик понимает: и с ним могло случиться то же. Плен — несчастье, а не преступление, по крайней мере для большинства таких, как мы. Подлецы и изменники в счет, конечно, не идут, да их и немного среди пленных.

Я сам несколько удивляюсь своей уверенности. Я хочу так думать, хочу верить, что и все так думают. Простой здравый смысл, больше того — сама печальная действительность войны на моей стороне.

Афоня горестно вздыхает.

— Пошто же нас сюда загнали?

— Это временно,— говорю я.— Надо проверить, не затесались ли к нам полицаи и власовцы.

— Дак ведь сказываешь — их немного. Для чего же над остальными, которых большинство, надругаться?

— Чтобы не ускользнули подлецы,— отвечаю я с прежней похвальной уверенностью.

«Зачем это говорю?» — спрашиваю я себя.— Ведь неправильно оскорбить сто человек ради того, что бы выявить одного негодяя. Их обязательно нужно вылавливать, предателей и всяких негодяев, но каким-то другим способом. А так — и бесчеловечно, и опять же нерасчетливо, и глупо».

— Словом, земляк, что у нас было, то и есть.— Афоня усмехается.— Лес рубят — щепки летят. Это мы уже слышали в тридцать седьмом... а ты говоришь, война внесла поправки! — Он сплевывает в воду и поднимается.— Ладно, сиди, а я пошел.

Часовой у монастыря больше не смотрит на меня: надоело или понял, что я неопасен... А вдруг и правда посадят? Соберут всех вместе, погрузят в эшелоны и отправят в лагерь куда-нибудь на Север или в Сибирь?

Нет, лучше не думать об этом. Не хочу думать. Не хочу мучиться. Хватит мучиться! Я обуваюсь и спрыгиваю с камня на берег.

...В полуразваленном сарайчике в груди хлама я случайно нахожу старый, но еще вполне пригодный велосипед. Я гоняю на нем по всем дорожкам и аллеям парка, потом, положив длинную доску на откос футбольного поля, съезжаю вниз, я все круче срезаю углы, набираю все большую скорость, пока, сделав особенно резкий поворот и зацепившись за край доски, не лечу вверх тормашками. Я разбиваю лицо в кровь, но мне не больно. Наплевать мне на кровь!

Вечером Афоня ведет меня к своим друзьям в дальний шалаш. Ребята где-то раздобыли спирта. Мне наливают почти полный стакан. Я пью, как и все, не дыша, и запиваю спирт водой.

Наплевать, что обжигает горло и перехватывает дух. Наплевать мне на все!

Я возвращаюсь домой. Мне смешно. Я иду и отталкиваюсь от земли. Это ужасно весело. Черное звездное небо вдруг опрокидывается вправо, и тогда я отталкиваюсь левой рукой. Потом небо стремглав летит влево, и я отталкиваюсь правой. Но я не только отталкиваюсь, я еще горланю превосходную песенку, которую сочинили в наше отсутствие, когда мы сидели в плену:

И пока за туманами видеть мог паренек,
На окошке, на девичьем, все горел огонек.

3

Я не знаю, что это: своего рода защитная психологическая реакция, или обида и затаенный протест, в которых больно самому себе признаться, или легкомыслие мое, а может быть, все, вместе взятое, но меня, кажется, вдруг перестают волновать и мысли о том, что нас ждет, и даже то, что с нами было. Я просто хочу жить, дышать чистым воздухом, гулять, хочу обыкновенных земных радостей. Для меня сейчас нет прошлого и нет будущего — только настоящее. Я понимаю, что скатываюсь с каких-то высоких человеческих позиций, однако и это мало волнует меня. Мы, пленные, — шлак, который выгребают из потухшей топки войны,

а то, что мы боролись с врагом в лагерях,— ну так что же: мы оставались и там советскими людьми и не могли вести себя иначе, и ничего особенного тут нет...

Уже середина июня. Стоят великолепные, в солнечце, в тополином пухе, яркие длинные дни. После первой сортировки нас, бывших концлагерников, переводят за город, в палаточный лагерь. Формируется офицерская рота и несколько рот рядового и сержантского состава. Проводятся переключки, иногда — строевые занятия. Командиры у нас выборные, свои. Никто больше не стережет нас.

И все-таки настроение подавленное. Кто же мы такие? Военнослужащие? Но почему нам не выдают форму? Почему мы выбираем командиров, когда в армии они должны назначаться? А главное — зачем держат нас здесь? С какой целью? Что за неопределенность?

Я отмахиваюсь от этих вопросов, но они назойливо лезут в голову. И я опять отмахиваюсь от них.

...Валерий Захаров, упираясь грудью в край стола, пишет. По поручению бывшего подпольного комитета он составляет отчет о деятельности нашей организации в Маутхаузене. Он пишет быстро, видно, что рука еле поспевает за мыслью. Голова немного набок, ворот полосатой рубашки расстегнут... Что ж, пусть пишет. Не буду ему мешать.

Выбираюсь из палатки. На небе жаркое солнце. Недалеке другая палатка, почище и попросторнее; там размещаются наши офицеры... Пойти туда? Наверно, опять играют в подкидного или простого дурачка. Нет, к офицерам не пойду.

Гляжу дальше. За дорогой, напротив палаточного лагеря, протянулись зеленые бараки. В одном из них санчасть, в другом живут настоящие военнослужащие, в третьем, полупустом, нечто вроде клуба или красного уголка. Я прочитал все газеты и журналы скопом, в один присест, а свежих еще нет.

Но деваться больше некуда: идти на речку под палящим солнцем не хочется, и я плетусь к клубу.

Еще издали вижу Порфирия. Он сидит на завалинке барака в тени и курит. Он один из самых старых моих товарищей по плену: мы познакомились в конце марта или в начале апреля 1943 года... Как бывшего оперуполномоченного, Порфирия теперь пригласили сотрудничать в особом отделе. Он живет на частной квартире в Цветле, у него свободный доступ в монастырь, ему даже разрешено носить личное оружие.

Мы здороваемся, и я подсаживаюсь к нему в тень. Порфирий заметно пополнил, порозовел, даже морщины на лбу и возле глаз чуть-чуть разгладились. Он весь будто помолодел и обновился: и взгляд веселее и голос звучней.

— Ну как там Жора? — спрашиваю я.

— Да пока без изменений, — отвечает Порфирий. Жора Архаров сразу по приходе в Цветль подал рапорт, что он разведчик генерального штаба и просит доложить о нем в соответствующие инстанции. Его временно поместили в монастыре.

— Кого-нибудь еще из наших ребят встречал?

— Из нашей группы? — Порфирий поводит длинной струей дыма. — Затеев и Савостин здесь, ты знаешь, Ермолаев Петр в госпитале... Лешка Толкачев, мне говорили, был повешен не то в Линце, не то в Штайере незадолго до конца. Слышал?

Да, я слышал о гибели Толкачева. Его повесили за то, что он обозвал гадами эсэсовцев, тащивших на виселицу заключенного-поляка, пойманного при попытке к бегству. Лешку повесили на той же перекладине, что и поляка.

— Да, вот какое дело, — помолчав, говорит Порфи-

рий. — Тебе Мишка на глаза не попадался? Ну, черт такой — помнишь? Работал в мастерских в нашем цехе...

— Помню. А что?

— Он власовец, я ищу его...

— Он не власовец. Он был в рабочей команде пленных на аэродроме под Парижем, он рассказывал мне.

— И мне рассказывал. Они под новый год будто бы разоружили пулеметчика и пытались бежать... Так где этот Мишка? — Порфирий мельком зорко взглядывает на меня.

— Я не видел его здесь, не знаю. Но он не власовец, ты ошибаешься.

— Власовец или не власовец, — это, друг, нам виднее. — Порфирий показывает в усмешке стальные коронки на передних зубах.

— Не власовец, — утверждаю я. — Мишка — свой парень. То, что они разоружили часового-пулеметчика и хотели бежать, — это же патриотический поступок! И в Маутхаузене он вел себя хорошо, ты сам помнишь.

Порфирий неожиданно грустно улыбается.

— А ты помнишь, как на восемнадцатом блоке уверял, что после концлагеря нас повезут отдыхать в Крым и наградят орденами?

Он задевает за самое больное.

— На твоём месте я не стал бы сейчас напоминать об этом, — говорю я.

— Может быть, может быть. — Порфирий снова мельком взглядывает на меня. — А ты не нравишься мне, промежду прочим.

— Почему же?

— Да так. — И Порфирий коротко смеется. — Не нравишься, не нравишься. Вроде чем-то недоволен. Вот и Мишку пытаешься взять под защиту. — Порфирий дружески хлопывает меня по плечу и еще раз полусерьезно повторяет: — Не нравишься.

Он заплевывает окурки, тщательно растирает его подошвой и встает.

Чужой, думаю я. Стал чужим... Да, пожалуй, и все мы, лагерные друзья, стали теперь немного чужими: замкнулись в себе, как-то потускнели — даже Валерий и Иван Михеевич, даже Порогов. Неужели пришел конец нашему братству?

4

Мне грустно, так грустно, как не было еще никогда.

Неправда, что меня больше не волнует будущее и безразличным становится прошлое. Мне очень больно за Валерия и Ивана Михеевича, моих первых командиров в антифашистском подполье, за Порогова, за Жору Архарова, за Быковского. Мне больно за всех честных военнопленных, оскорбленных и униженных недоверием.

И опять я с тревогой думаю о том, что же нас ждет: ссылка, тюрьма или бесславное возвращение домой на правах отбывших свой срок заключенных?

Я хотел бы жить только настоящим, но ведь настоящее — это всегда стык прошлого и будущего. В человеке неизбежно живет прошлое и предчувствие будущего, потому что будущее во многом вырастает из прошлого, а за прошлое — войну и плен — я, кажется, не могу ни в чем серьезно упрекнуть себя. Почему же меня должна ждать ссылка или тюрьма?